

*Деду,
Лукьянову Александру Трофимовичу,
посвящаю*

Дымок от затушенного костра поднимался тонкой струйкой, еле видной в сумерках. Шумели сосны, покачиваясь на ветру, гуляющему высоко. Кряхтела груша-дичка посреди поляны скошенной травы, как старуха, что через боль в костях еще старается что-то сделать — прибрать, подмести, — так и она вот-вот согнется и прикроет голыми от старости ветвями флягу с холодной питьевой водой.

Весь день мы сгребали сено в валки, и они лежали теперь, как выползшие из-под земли — в темноте, на лесной поляне.

От работы гудели руки. Усталость жгла под веками. Хотелось спать, но после дневной жары было зябко, и комары зудели, лезли в лицо. А укрыться от них с головой — дышать тяжело, душно, да и куртки пропахли дымом.

Я ворочался с боку на бок, вытягивал ноги, замерзал, укрывался, сбрасывал куртки, махал руками, отгоняя комаров; застеленная сеном телега казалась мне узкой, а воздух — душисто-сладким.

Отражаясь в тракторном стекле, зажигались звезды. Над верхушками сосен встал яркий месяц, осветив скатерть поля-

ны, валки, заросший обрывистый берег. Мне все еще чудился в руках гладкий черенок граблей, и казалось: вот-вот и снова вставать, сгребать, но теперь уже звезды в одну большую бриллиантовую копну. Ворочаясь, я видел поляну, и она при лунном свете все уходила вдаль, расширялась и сливалась с соснами где-то совсем далеко. Как вдвоем ее осилили — ума не приложить.

Да, сна не видать — хоть вставай. И вправду, встать что ли, взять удочки, попробовать порыбачить... Битюг здесь глубокий, одни омуты. И вода ледяная. Пот смыть и то страшно, из ведра охлынешься — сердце застывает. А месяц уже там, должно быть, в реке, точно слиток золотой на дне лежит. И звезды блестят, заглядывают в белые глаза кувшинок... Нет, раз лег — уже не встать, лень. И дед не спит — шумно зевает, вяло отгоняет комаров. А может, я ему спать мешаю...

От Битюга поднялся густой туман, как молочно-белый дух реки. Низко стелясь, он пополз во все стороны. Коснулся груши и флаги у ее ствола. Уперся в тракторные колеса. Скрыл под собой сундучок с едой и деревянные грабли.

— Да, тогда тоже туман был, — сказал дед как самому себе.

Я повернулся к нему и так же тихо спросил:

— Когда? В прошлом году?

Дед лег набок и засмеялся, как смеются старики, тяжело втягивая воздух.

— Ну уж, «в прошлом году»! Годков много прошло...

Он замолчал. И я молчал тоже. Тишина, казалось, гудела, мучительно что-то храня в себе.

Хлопнув комара на шею, я не выдержал:

— Ну что? Туман — что?

Дед повернулся на спину и грубой ладонью потер щетинистый подбородок:

— Годков много прошло... Да-а-а... Еще в войну. Это сколько?.. А-а-а, девятого скажут. Девятого все: и как губили, и как бомбили, а десятого — молчок. И то хорошо. Хоть так... — Он вздохнул, пожевал губами. — И то... Мы раньше работали не то что нынче. Денег им подавай побольше, хлеб с маслом. Мы работали так работали. Зачем, для чего — знали. А сами — четырнадцать годков. Худые, как спичка, хоть на фронт посылай — в упор стреляй, не попадешь... Э-хе... А лето — тут наскребай мозоли. Колхоз. И дома в стороне не стояли. А вечером с колхозным конюхом, Зеленовым дедом, коней в ночное гоняли. Зеленов Алексей Иванович — был такой. Старик. В фуфайке ходил зимой и летом. Черная такая, засаленная, аж блестит. Вот тебе: «зимой и летом одним цветом»... Нас человек десять одногодков. У каждого лошадь своя, любимая. Кто себе выбрал — чужой не тронь, а то получишь. Ну, какая там драка — потолкаемся, а потом сопли утрем, и опять не разлей вода. Обычное дело: повздорили, поссорили — и ветерком выдуло, как не было ничего... Да, такие дела... И вот у каждого лошадь «своя», и он вокруг нее так и вьется, так и вьется... У меня Веселый был. А чего Веселый? Черт его знает! А так смотришь — улыбается вроде, глазами. Казалось... Раз Веселый, так улыбаться должен... И мы, значит, играем, боремся, то скачки устроим, то еще что... Да-а-а, вот... И то, какая это работа? Забава одна. Друзья, лошади тут, целый вечер смеху, аж щеки дубеют. А тут — вечером тем — на Бабе болото поехали. Дед травы накопил, а мы ее в кучу — постель вроде... Кхэ!.. — Дед громко закашлял, прикрыв рот кулаком.

Доски телеги слабо скрипнули. Дед вытер губы. — Во-о-от... Тут уж ночь. Глаза слипаются. За день намаялись, ноги как мякоть. Травы... кхэ... насте.. кхэ... настелили, зарылись в нее, а холод — не уснешь. Дрожим, ворочаемся, глаза слезятся, холод — до костей. Ну, слезалась трава. Согреваться стали кое-как... по чуть-чуть, помалу. Тут уж угомонились... Да, тут уж не заметишь, как уснешь — с усталости, в тепле... А дед Зеленов в подводе спал. Он любил там. Каждый раз... — Дед замолчал. Он лежал на спине, сложив руки на животе поверх курток. В свете луны было видно, как он вытянул губы, будто вспомнил какую-то старую мелодию и собирался тихо ее насвистеть. Он зевнул — сладко, протяжно. Продолжил: — Сколько спал, не помню. Проснулся — только брезжит. Туман кругом густой, как сметана. А начинается вот так, в полуметре от земли. Я на колени встал — голова в тумане, а сам нет. Туман сырой, холодный. А мне интересно. Туман сверху, а над землей видно. Лошади вдали ходят — одни ноги видно. Чудном так... Ладно. Смотрю, лошадь одна ближе идет. Я... Сердце как об сковородку бьется. Какая ж это лошадь?! Ноги человечьи! Двое идут, и как-то медленно, с опаской, будто лишнего шума сделать боятся. У меня во рту пересохло, воздух холодный аж до кишок проходит. Ближе... Ближе... Я лег как мертвый. Страшно — жуть. А эти — ближе. Через туман фигуры видно, размыто так, еле-еле, а видно. Сердце — и в горле, и в ушах. А они вплотную уже. Мне и дышать страшно. Сердце щемит, все громче, громче бухает, вот-вот, думаю, услышат. И шевелиться боюсь — заметят. А затылок, как назло, чешется, и шея немеет — вот хрустнет... А они на меня, сейчас на ногу наступят... Смотрю, остановились. Сквозь туман фигуры просвечивают, а что там на них, какие они — не видно. Ну, думаю, и меня не видно... А может, услышали? Стоят, прислушиваются: где это сердце бьется?..

— Так чего боялся? — Я пододвинулся поближе. — Заблудились...

— Да... — Дед хмыкнул. На щеках его заиграли желваки. — Заблудились... Нашли где. Когда заблудятся, молчком не ходят. Тихо так они, словно прячутся. А уж когда встали... Чего им бояться? А эти... и как стоят, и сапоги — обычные сапоги, а как-то... Все так, да не так. Что-то... — как сказать? — нехорошее... Человек, когда стоит, по нему видно. А эти... Да-а-а... И страшно, сердце разбухает. Дышу через раз, в груди жжет, а все громко как-то... Тут один нагнулся. По мне пот градом. На землю что-то ставит. Видно, вниз не смотрел, а поставил чуть не на ногу мне. Смотреть неудобно. Чемоданчик какой-то небольшой... Раньше у железнодорожников были. Коричневый... Саквояж, что ли?.. Железнодорожники с такими ходили — у них там ключи всякие, все такое... Смотрю на ноги им, а они друг к дружке повернулись и молчат. Вот, думаю, сейчас нагнется — и в меня глазами... Зажмуриться хочется, а не могу... Они развернулись. Тот боком согнулся так, ручку нащупал, поднял — в другую руку, стало быть, взял. Прочь пошли... Уходят — дальше, дальше... И тихо, как с опаской — ступают неслышно. В сторону от лежанки нашей и от повозки ушли... Уж не видно их, и ног их не видно, а я все лежу; дышать, шевелиться не могу никак... Сколько лежал, не помню. Тут уж туман бледнее, бледнее... Я кое-как, ползком к повозке. Мурашки по коже бегают. Знаю, ушли, а кажется, где-то здесь еще — того и гляди в сапог упрушься. Подползаю — дед спит, голову запрокинул. А если б захрапел?.. У меня ком в горле, слезы к глазам подступают. Так захрапел бы — и все... Подушили бы нас как котят. А дома тепло... и мать...

— Да, дед, на войне не был, а страху натерпелся...

— Да... — Дед потер щеки, изрезанные глубокими морщинами. — Я деда Зеленова за рукав, а он меня матом: иди, мол, отсюда, спи!.. Я все тяну, рот разеваю, как рыба. Он проморгался спросоном: «Чего?» Я кое-как ему: «Два, два...» И пальцем: «Туда... туда!..» Он слез с повозки, посмотрел: да, трава в росе, по росе хорошо видно — следы. Пальцем мне: «Молчи!» Сам лошадь поймал и поскакал в сторону села. Ну, в Хреновое то есть...

Тут уж совсем светло. Я стал ребят будить. А у самого холодок — это ж надо, думаю, ни одна душа не храпела. Тут каждую ночь кто-нибудь да устроит, а сейчас... Бог уберег. Засвистел бы кто носом, и что тогда?.. Ребята сонные. На меня нуль внимания. А так ведь хочется, чтоб кто-нибудь спросил, куда это дед делся и что это я такой?.. Дед молчать велел, а так хотелось сказать... Аж внутри ходуном ходило! И хочется — и нельзя... И весело так после страха. И гордость какая-то! Это ж не просто так! Это ж я молодец! Да-а-а... А тут внимания — нуль. Обидно, не приведи Господь. Собрались, лошадей домой погнали, а я всю дорогу представляю, как меня по плечу хлопать будут: «Молодец, Санек! Герой — что ты!»

А в это время в здание школы солдат пригнали. И вот они все куртины, все солотя — как учение. Цепочкой выстроились, и давай прочесывать. То и дело: «Ура! Ура!» Вроде в бой идут. Вечером смотрим: солдаты на краю села появились. Четырех человек ведут в железнодорожной форме... Все, кто был, на улице высыпали, галдят, обсуждают: «Кто такие? Кто такие?» А я как крикну: «Это я! Это я их!.. Только их двое было!.. Я деду Зеленову сказал!» И тут мне затрещина — в глазах потемнело. Я в слезы. Мать меня за ухо — и в дом. «Молчи, собака, — говорит, — смерти нашей захотел?!» Да... Немцы уже на Дону стояли. Хреновое бомбили... Здесь на станции — эшелоны военные; а в степи самолеты стояли... Среди соседей были и такие, кто немцев ждал уже... А если б немцы в Хреновое пришли, черт знает, что б сделали за мой-то подвиг... И со мной... И с матерью... Со всей семьей...

Дед лег на бок и закрыл глаза. Говорил он все медленней, все тише...

— Мне четырнадцать стало... в июле, сорок втором... Трактористом стал. В нашем отряде женщины, да такие, как я... В две смены работали: день, ночь... В полевом стане жили. Домой не пускали обмыться, одежду сменить... Ночью страшно... Глаза слипаются, а трактор без кабины. Задремлешь, и вниз... под колеса... Случай был... парнишка... уснул... Раздавило... По двое... стали... — Дед замолчал, дышал глубоко, ровно — уснул.

В первый раз в жизни я пожалел, что не могу видеть чужой сон. Снится ли ему туман, эти ноги или затрещина матери? А может, снится ему, как дурачились они, скакали на лошадях, вздорили и было быстро мирились? Как были счастливы счастьем юности, той, которую не убьет, не отнимет ни один враг и в душе от которой останется самое доброе и светлое... Нет ничего ярче детства. Даже детства, в котором была война...

Отчего-то мне было грустно.

Туман исчез, лег дух реки в свое извилистое крепкое русло. Чаем пахло сено. Луна уже много прошла, по-хозяйски вымеривая ночное небо. Комары пропали, видно, холодно стало для них... Да и что они нам теперь?..

Я потеплее укрывся куртками, но спать не мог. Я думал.

Да, это крохи, малые крохи... Но главное не потерять их, сохранить. Сколько еще нерассказанных историй? Сколько историй, которые уже никогда не будут рассказаны? Все их нужно узнать, все их нужно сберечь, донести до людей. Иначе погибнут они. Погибнут те дети, солдаты, те города и села. Погибнут наши отцы и деды. Погибнут... И уже не будет средств вернуть их обратно...

Утром мы погрузили сено в телегу. Солнце уже припекало. Железо тракторной кабинки нагрелось и жгло руки. Поляна казалась коротко подстриженной зеленой головой.

Взревел тракторный движок. Громкое эхо пролетело над Битюгом, заблудилось в деревьях, пугая птиц. Мы тронулись в путь по узкой лесной дороге, по колеям, ведущим домой.

Поляна осталась за поворотом, рассыпалась в частоколе сосновых стволов.

Сколько лет прошло, а ни разу не довелось мне вернуться туда. Уж и не знаю теперь, есть ли она еще, та поляна? Цела ли та груша, тот обрывистый берег, ледяная вода? Да, есть история и память, но нет и не будет дорог, ведущих назад, в прошлое...